Биологическое, социальное и моральное в объяснении логики истории, или Стоит ли искать крестьянина в современном мире

Моррис И. Собиратели, земледельцы и ископаемое топливо. Как изменяются человеческие ценности / Под ред. и с введением С. Мэсидо; с комм. Р. Сифорда, Дж.Д. Спенса, К.М. Корсгаард, М. Этвуд; пер. с англ. Н. Эдельмана. М.: Изд-во Института Гайдара, 2017. — 488 с. [и на книгу: Хэнсон Т. Триумф семян: Как семена покорили растительный мир и повлияли на человеческую цивилизацию / Пер. с англ. Н. Майсуряна, А. Олефир; под ред. В. Бологовой. М.: Альпина нон-фикшн, 2018. — 374 с.]

И.В. Троцук

Ирина Владимировна Троцук, доктор социологических наук, доцент кафедры социологии Российского университета дружбы народов; ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной социологии НИУ ВШЭ; ведущий научный сотрудник Центра аграрных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 119571, Москва, просп. Вернадского, 82. E-mail: irina.trotsuk@yandex.ru

DOI: 10.22394/2500-1809-2018-3-2-155-178

В последние годы дискуссии о судьбах аграрного/крестьянского вопроса утратили прежний полемический пыл и политический характер, сохранив противоречивые концептуализации аграрно-земледельческой проблематики в разных научных и публицистических дискурсах. Говорить о страновых приоритетах здесь бессмысленно, как и пытаться противопоставлять отечественную и зарубежную традиции, потому что они не однородны: в обеих присутствуют попытки обнаружить и/или описать нынешнего крестьянина и оценить его шансы на сохранение в современном мире. Пессимистично их оценивают российские авторы, понимающие масштабы доминирования агрохолдингов и ориентацию государства на укрупнение сельскохозяйственных организаций, оптимистично — представители международного движения Виа Кампесина, пропагандирующие и поддерживающие низовую мобилизацию и кооперацию мелких производителей. Несомненно сегодня одно — смещение фокуса крестьяноведческого внимания в область, которую можно условно назвать «аграрно-экологические практики», чтобы устранить пробелы между громкими аграрно-теоретическими постулатами и тихими повседнев-

ными реалиями сельской жизни посредством анализа тесной взаимосвязи ее биологического и социально-культурного аспектов. Такой акцент в значительной степени лишает смысла напряженную борьбу конкурирующих идеологий (либеральной, популистской, марксистской, постмодернистской и пр.), потому что переводит разговор о сельскохозяйственных практиках из политико-экономической плоскости в сферу историографического теоретизирования и моделирования взаимосвязи разных форм социальных практик и мотиваций с объективными биологическими и хозяйственными факторами.

Данный акцент может быть предельно очищен от социально-экономического содержания в целях фокусировки исключительно на биологической детерминанте хозяйственных практик. Яркий пример — книга Тора Хэнсона «Триумф семян: Как семена покорили растительный мир и повлияли на человеческую цивилизацию», показывающая на огромном иллюстративном материале и с прекрасными юмористическими комментариями автора, как эволюционировали семенные и споровые растения и какую роль они сыграли в становлении нынешней цивилизации. Несмотря на то что структурно книга выстроена согласно «социальным» функциям семян (питают, объединяют, выживают, защищаются и путешествуют), а автор постарался свести к минимуму ботанические термины (составив их краткий словарь, чтобы читатель не запоминал их, а мог по мере чтения уточнять, о чем идет речь), все же содержание работы носит биологический характер, а автор столь увлечен семенами («это чудо, заслуживающее изучения, восхищения и изумления»), что использует социальную метафорику, чтобы подчеркнуть их почти разумную адаптивность. Например, «специалистам в области маркетинга остается только мечтать о такой широкой распространенности своих товаров, в то время как в мире природы семена без труда проникают повсюду, преобладают в большинстве ландшафтов — от влажных тропических лесов и альпийских лугов до арктической тундры — и определяют структуру целых экосистем» (с. 19-20).

«Без посева семян и сбора урожая не существовало бы сельского хозяйства в том виде, в каком мы его знаем, а человечество по-прежнему представляло бы собой небольшие группы охотников, собирателей и пастухов. Более того, некоторые специалисты полагают, что Homo sapiens мог вообще не появиться в мире, лишенном семян... Эти природные объекты — маленькое биологическое чудо — проложили дорогу современной цивилизации, своей удивительной эволюцией и естественной историей определяя и меняя нашу собственную эволюцию и историю... Семена в буквальном смысле слова — хлеб наш насущный — основа питания, экономики и образа жизни людей во всем мире» (с. 21). Однако автора больше интересует вопрос, почему семена служат опорой дикой природы (составляя более 90% земной флоры), хотя когда-то играли ничтожную роль в земной растительности, в которой господствовали споровые растения. Поэтому хотя в названии книги упоминается человеческая цивилизация, социальные аспекты жизни семян отражены в редких иллюстратив-

ных примерах, а автор сосредоточен на описании тех свойств и возможностей семян, которые позволили им завоевать важное место в природе и стать основой нашего рациона. Эти свойства семян носят функциональный характер: они питают (содержат питательные вещества, семя — «детеныш растения в коробке вместе с завтраком»), объединяют (половое размножение позволило семенам перемешивать гены и размножаться все более изощренными способами), выживают в самых сложных условиях (их можно хранить и обрабатывать), защищаются (иногда полезными для человека приспособлениями) и путешествуют (нашли бесчисленные способы распространения).

Сознательное игнорирование автором сугубо социальных проблем отражено в принципиальном отказе рассматривать проблему генномодифицированных семян, которая сегодня неизменно оказывается в центре общественных дискуссий о производстве продовольствия. Хэнсон признает, что «появление относительно простого в использовании оборудования для генетических манипуляций открыло новую эру в жизни растений и их семян. Привычные сельскохозяйственные культуры — от кукурузы и сои до латука и томатов — были изменены в лабораторных условиях с помощью генов, заимствованных у арктических рыб, почвенных бактерий и даже у Homo sapiens. Генетическое модифицирование — новейшая технология, имеющая в наше время первостепенное значение, но на этих страницах о ней лишь кратко упоминается. Вместо этого мы рассмотрим, почему... опросы общественного мнения неизменно свидетельствуют о том, что люди гораздо спокойнее относятся к идее изменения их собственного генома или даже генома их детей (в медицинских целях), чем к мысли об изменении генома семян? Ответ можно найти в последовательности событий, охватывающих миллионы лет, в которых удивительным образом переплелись история семян и история нашего собственного вида его культуры (мы — человекообразные обезьяны, освоившие кулинарию)» (с. 15-16).

Автор постоянно апеллирует к социальной метафорике[1], чтобы подчеркнуть, что анализ семян (даже с прикладных агроэколо-

1. Это очевидная тенденция нашего времени в научно-публицистической литературе — увлечение социальной метафорикой для объяснения явлений природно-биологического характера. Например, если с момента зарождения социологической науки «биологическая (или органическая) метафора» использовалась, чтобы на простых и понятных примерах показать, как возможно общество, то в последние годы, наоборот, мы оказались в центре книжного бума, на разных примерах убедительно демонстрирующего, сколь сильно наши социальные качества физиологически и биологически детерминированы, посредством апелляций к социальным и антропологическим аналогиям (тело — «наша единственная в своем роде собственность», вирус гриппа и сиаловая кислота «исполняют в нашем теле полный изящества танец» и т. д.). См., напр.: *Найт Р.* (2015). Смотри, что у тебя внутри. Как микробы, живущие в нашем теле, определяют наше здоровье и нашу личность / Пер. с англ. Е. Валкина. М.: Изд-во АСТ: CORPUS; *Нудельман Р.* (2014). Неизвестное наше тело. О полезных паразитах, оригами из ДНК и суете вокруг гомеопатии... М.: Ломоносовъ и др.

гических позиций) выиграет, если смотреть на них как на маленьких хитрых существ. Так, злаки «невелики по размерам, плодовиты и легко прорастают, что делает их доминирующими растениями почти на любом участке открытой местности и идеальной продовольственной культурой» (с. 53); любая растущая трава демонстрирует «безрассудную храбрость в сочетании с неподдельной стойкостью» (с. 55); «последний важный шаг в эволюции семян был сделан, когда некоторые голосеменные растения научились укрывать свои семена... примерно так же, как поступают люди после купания, и по тем же причинам» (с. 109); «как только грызуны принялись грызть семена, растения и их поедатели фактически вступили в гонку вооружений... отношения между грызунами и семенами развиваются в обстановке, похожей на кадриль, где пары постоянно меняются партнерами в вихре поворотов... конечный результат может выглядеть как “баш на баш”, но при этом весьма вероятно, что на итог могли повлиять множество других танцоров» (с. 169). Семена-хитрецы демонстрируют чудеса изобретательности, некоторые из них наука не разгадала до сих пор: мы «разобрались во многих процессах, определяющих состояние покоя, пробуждение и рост заключенного в семени зародыша... но конкретные сигналы, которые запускают все эти события и управляют ими, остаются под покровом тайны» (с. 44). Причем столь хитроумны не только семенные, но и споровые растения, которые «в каменноугольном периоде росли на болотах и оставили после себя непропорционально большое и в конечном счете вводящее исследователей в заблуждение количество окаменелостей» (с. 99), заставляя думать, что семенных растений в тот период практически не существовало[2].

Семена интересуют автора с точки зрения свойств, «связывающих их общими задачами, такими как распространение, защита зародыша и снабжение его питанием на первое время» (с. 47). «При всей семенной плодовитости злаки вряд ли бы стали жизненно необходимы для человечества, если бы не особый химический трюк — ...

2. Данная метафора вызывает ассоциации с работой Дж. Скотта «Искусство быть неподвластным: Анархическая история высокогорий Юго-Восточной Азии» (Пер. с англ. И.В. Троцук. М.: Новое издательство, 2017; Глава 1), где автор утверждает, что проблема не вполне корректной интерпретации исторических реалий (будто бы вся человеческая история представляет собой последовательную смену разных форм государственного состояния с редкими и кратковременными очагами варварства на периферии крупных административных центров) обусловлена тем, что ключевые исторические тексты, конструирующие доминирующий исторический нарратив, апеллируют к огромному числу четко локализованных материальных и письменных артефактов, которые оставили после себя даже самые слабые и недолговечные царства (в книге Хэнсона — споровые растения), тогда как рассеянные, мобильные и эгалитарные сообщества разбрасывали свои «артефакты» на огромных территориях, а документальным шлейфом пренебрегали, даже если имели письменность (первые семенные растения).

как злаки упаковывают свой "завтрак"... Где бы люди ни переходили от охоты и собирательства к земледелию, основой этому послужили один или два вида злаков... Семена злаков и других растений занимали существенное место в человеческом рационе еще во времена охотников и собирателей, которые вели кочевой образ жизни» (с. 57). Хэнсон примыкает к лагерю противников точки зрения, что главную роль в социальной эволюции человека сыграло появление копья и лука со стрелами, что изменило численное соотношение охотников и собирателей благодаря усовершенствованию техники охоты и богатому белками рациону. Альтернативная версия истории гласит, что главную роль сыграли семена[3], став продуктом первой необходимости в силу своего энергетического потенциала и заставив людей организованно высаживать, собирать, хранить и обрабатывать урожай, и произошло это не после, а до перехода к оседлому образу жизни и земледелию[4].

«Подобная история повторялась везде и всегда, когда происходила аграрная революция: многообразный рацион из диких растений уступал место нескольким зерновым и другим сельскохозяйственным культурам. За редкими исключениями, злаки, которым отдавалось предпочтение, обладали общим важным качеством — были однолетними, т. е.. следовали жизненной стратегии "все или ничего", которая заставляет растения вкладывать все свои ресурсы в семена... Независимо от того, когда произошел этот переход, прочнейшие связи между злаками и цивилизациями никогда не ослабевали. Превратившись однажды в основу нашего рациона, зерновые культуры оказались полностью вовлечены в экономику, политику,

3. О более близких нам исторических периодах, важнейшие события которых также были обусловлены едой (не конкретно семенами, но продуктами питания, включая специи и кулинарные привычки), пишет Т. Нилон в книге «Битвы за еду и войны культур: Тайные двигатели истории» (М.: Альпина Паблишер, 2017), реконструируя сокрытые в еде социокультурные коды и детерминированные ими эпохальные события.
4. Примерно о том же пишет Дж. Скотт, вводя понятие «зерновая гипотеза» для поиска ответа на вопрос, почему зерновые культуры так тесно связаны с первыми государствами. Эти культуры в наибольшей степени способствуют концентрации производства, сбору налогов, кадастровой оценке, хранению и нормированию, обеспечивая агроэкологию, результирующую в высокой плотности населения. По сути, формирование первых государств начинается только тогда, когда в пищевом рационе некоторой совокупности людей преобладают несколько одомашненных зерновых культур, и государство лишь прилагает усилия, чтобы поддерживать, укреплять и расширять этот агроэкологический фундамент своего могущества, занимаясь «ландшафтным обустройством» — создавая обмерянный и единообразный ландшафт на основе налогооблагаемого зернового земледелия и удерживая здесь население, необходимое для барщинного труда, военной службы и производства зерна. См.: *Скотт Дж.* (2017). Первые государства в истории человечества: агроэкология, письменность, зерно и городские стены // Крестьяноведение. Т. 2. № 2.

обычаи и повседневную жизнь людей во всем мире. ...Любое переломное событие в истории человечества так или иначе связано с зерном (в поздней Римской империи городские власти умиротворяли народ с помощью пышных представлений и раздачи пшеницы, а недостаток хлеба и продовольственные бунты уничтожили ее; цены на пшеницу и зерновая политика — одна из причин «арабской весны»)» (с. 61-62).

Менее «биологический» и основанный на внушительном массиве самых разных данных вариант человеческой истории как детерминированной агроэкологическими практиками предлагает Иэн Моррис в книге «Собиратели, земледельцы и ископаемое топливо. Как изменяются человеческие ценности». Согласно аннотации, действительно суммирующей содержание, книга, «опираясь на данные археологии, антропологии, биологии и истории..., предлагает убедительное [с оговорками] объяснение эволюции человеческих ценностей, утверждая, что за принципиальными долгосрочными изменениями ценностей стоит наиболее фундаментальная из всех сил — энергия. Люди придумали три главных способа получать необходимую им энергию: собирательство, земледелие и получение ископаемого топлива. В крохотных отрядах собирателей лучше всего живется тем, кто ценит равенство, но готов решать конфликты путем насилия; в крупных земледельческих обществах в наиболее выгодном положении оказываются те, кто ценит иерархию и в меньшей степени склонен прибегать к насилию; наконец, в гигантских обществах потребителей ископаемого топлива маятник снова качнулся в сторону равенства, но еще больше удалился от насилия [даже беглый просмотр новостных лент за последнюю неделю заставляет сомневаться, что мы подошли к равенству столь же близко, сколь далеко ушли от насилия]» (с. 4). Аннотация раскрывает не только суть излагаемой в книге концептуальной схемы, но и ее основное ограничение — как любая другая схема столь же глобального характера, предложенная Моррисом модель не может не быть излишне упрощенной, особенно учитывая ее несколько идеалистический настрой в трактовке вектора истории как движения к равенству и ухода от насилия (ни в макромасштабах, ни на повседневном уровне нынешние социальные системы не могут похвастаться ни тем, ни другим).

Впрочем, раскритиковать книгу не удастся даже самым радикально настроенным читателям, потому что сначала Моррис последовательно излагает свою версию мировой истории (главы 1–5), затем приводит возражения критиков, сделав их составной частью книги (главы 6–9) и отвечает на них (глава 10), оставляя за собой последнее слово. Кроме того, книгу предваряет Введение С. Мэсидо, утверждающего, что Моррис создал «амбициозную картину того, как определенные “грубые материальные силы” ограничивают и помогают определить “культуру, ценности и представления”, включая моральные кодексы» (с. 11). Незаинтересованный читатель,

желающий ознакомиться лишь с сутью концепции Морриса и ее наиболее критикуемыми положениями, несомненно, должен быть благодарен Мэсидо: ему удалось на нескольких страницах тезисно и точно изложить и то и другое, причем основные моменты теории Морриса изложены так, что сразу понятно, за что их просто нельзя не поставить под сомнение в той или иной степени.

Суть аргументации Морриса в изложении Мэсидо такова: «Некоторые элементарные человеческие ценности, такие как “честность, справедливость, любовь и ненависть, стремление не причинять вред, признание некоторых вещей священными”, сложились около ста тысяч лет назад. Возникновение этих “ключевых понятий”, в той или иной форме проявляющихся в любой культуре, стало возможным благодаря “биологической эволюции, наделивший нас большим и быстродействующим мозгом”... Наш избыточный разум дает нам возможность создавать и видоизменять культуру. Люди выработали сложные системы ценностей, норм, ожиданий и культурных шаблонов, на которые опираются различные формы сотрудничества, повышающие шансы на выживание в случае изменения окружающей среды. Подобно биологической эволюции культурные инновации можно рассматривать как часть процесса “конкуренции, складывающейся из миллионов микроэкспериментов” — культурных эквивалентов случайных мутаций в биологии. В зависимости от удач и неудач этих экспериментов “те признаки”, которые полезны в данном окружении, вытесняют те, которые не приносят пользы» (с. 12-13). Моррис предлагает читателю «макроисторию человеческих ценностей», состоящую из трех последовательных этапов, на каждом из которых культуру определял наиболее продуктивный способ извлечения энергии, задающий и ограничивающий возможные формы социальной организации (численность и плотность населения) и социальные ценности: собирательство — эгалитарные структуры и высокий уровень насилия, земледелие — иерархичность и более низкий уровень насилия, добыча ископаемого топлива — эгалитарные в политическом и гендерном плане общества (очень спорное утверждение по нынешним временам), терпимые к имущественному неравенству и менее склонные к насилию, чем прежние социальные системы.

Признавая, что пересказывает аргументацию Морриса в «сильно упрощенном виде», Мэсидо все же квалифицирует его подход как «функционалистский» (хотя он явно тяготеет к материалистическому детерминизму), поскольку ценности здесь выступают как адаптивные признаки, изменяемые людьми по мере эволюции социальной системы (прежде всего хозяйственных практик, над которыми надстраиваются остальные подсистемы), чтобы добиться их максимальной эффективности. Мэсидо характеризует подход Морриса как многофакторный, хотя даже дополнительные факторы (география и технические инновации) носят здесь материалистически-детерминистский характер, и подчеркивает ясность его аргументации

(безусловно, если не задумываться, какая детерминистско-биологизаторская модель за ней скрывается) и остроумие (что несомненно).

Критику теории Морриса Мэсидо излагает не менее виртуозно, поэтому обозначим сначала ограничения предлагаемой концептуальной модели, а затем ее основные компоненты. Во-первых (критика Р. Сифорда), это количественный детерминизм, который заставляет Морриса игнорировать разнообразие ценностей и культурных норм внутри каждого из выделяемых этапов человеческой истории (все глобальные модели имеют такое ограничение, и проблема не столько в концептуальных основаниях теоретизирования, сколько в необходимости слишком широких, а потому и слишком упрощенных, обобщений). Сифорд критикует базовую посылку Морриса, что «образ мысли всегда соответствует требованиям эпохи», полагая, что его «лекции умны, увлекательны, убедительны и катастрофически ошибочны с политической точки зрения» (с. 301), потому что «проводимая им связь между извлечением энергии и ценностями не является ни всеобщей, ни неизбежной» (с. 307), например, земледельческие общества могут быть небольшими и прекрасно сочетаться с эгалитарными ценностями.

Во-вторых (критика Р. Сифорда и Дж. Спенса), оперируя широкими обобщениями и опираясь на исторические документы, на протяжении столетий игнорировавшие «маргинализированные группы», Моррис упускает из виду наличие внутри этапов не встраивающихся в его концепцию явлений, например, политически бессильный эгалитаризм земледельческой эпохи (крестьянские бунты говорят о неприятии неравенства вообще и как «блага» особенно). Более жесткая версия того же критического высказывания упрекает Морриса в защите идей нынешних «правящих классов» вопреки «образу мыслей, в котором нуждается наша эпоха», в частности, будучи в плену «неосознанных предубеждений при отборе принципиальных моментов», ставя на первое место «конкуренцию, квантифицируемость, консенсус и эффективность — ключевые идеи капиталистического предприятия и капиталистического общества», Моррис «слишком поспешно соглашается с ключевыми идеями нашего капиталистического экономического строя», хотя «наша эпоха нуждается в более критическом и просвещенном отношении к элементарным человеческим ценностям» (с. 15). Сифорд задается вопросом, для кого именно «наиболее полезны» ценности каждого способа извлечения энергии, особенно принимая во внимание, сколь часто всеобщие ценности (честность, справедливость, стремление не причинять вред и др.) «приносились и по-прежнему приносятся в жертву мнимой неизбежности квантифицируемой конкуренции» (с. 311).

Спенс высказывает обоснованные сомнения во «впечатляющем здании» Морриса и на том основании, что задача измерения исторических ценностей крайне проблематична. Проблема не в том, что «Моррис взвалил на себя чрезвычайно колоссальную ношу, и по-

тому читатель эмоционально настроен на то, чтобы под его руководством вникнуть в мировую историю... Скептическое отношение к работе Морриса проистекает из определенной приглаженности, заметной в его картине мира, из "лакировки данных"... Например, можно ли использовать такие внешне простые слова, как "земледелец» или "работа", не принимая во внимание бесчисленные разновидности опыта, которые могут присутствовать в конкретных отношениях или ситуации. В свою очередь, эти различия могут иметь обманчивое сходство с текущими практиками... но быть абсолютно чуждыми им в своих целях и с практической точки зрения» (с. 313-315).

В-третьих (критика К. Корсгаард), сомнительна предлагаемая Моррисом трактовка моральных ценностей, поскольку следует различать «позитивные ценности» (формальные идеалы различаются от века к веку, от общества к обществу) и «истинные моральные ценности» (реальные поведенческие ориентиры не меняются в своей основе). Акцентируемые Моррисом позитивные ценности в состоянии выполнять те социальные и эволюционные функции, которые он на них возлагает, только если являются и истинными моральными ценностями (люди в них безоговорочно верят). «Могли бы члены земледельческих обществ подписаться под ценностями этих обществ, точнее, их собственными ценностями..., если бы воспринимали их как механизмы функциональной адаптации к определенному способу извлечения энергии? Нет... мы должны рассматривать вынесение оценок с точки зрения участников этого процесса, что предполагает наличие как "истинных ценностей", лежащих в основе нашей оценки поступков других людей, так и наших собственных "нормативных представлений о самих себе"» (с. 17). «Если ценности — всего лишь способ сохранения социальных форм, необходимых при данном способе извлечения энергии, и если люди это знают, то непонятно, как эти ценности могут работать. Для того чтобы ценности могли выполнить свою функцию, люди должны верить, что они придерживаются истинных моральных ценностей» (с. 334). Помимо данного общего возражения (оспаривается не список всеобщих ценностей, а гипотеза о том, каким образом наш мозг их диктует) Корсгаард подвергает сомнению и отдельные утверждения Морриса, например, не верит, что у животных имеются моральные ценности (они не обладают человеческой способностью к оценке), и не понимает, «что именно готов признать Моррис, когда говорит о возможном существовании "оптимального" набора ценностей» (с. 343).

Корсгаард не отвергает концепцию Морриса, а призывает воспринимать ее критически, потому что существует множество трактовок изменений ценностей с течением времени («социологический позитивизм», «просвещенческое мировоззрение» и «идея об искажениях»), а Моррис «не показал, что его объяснение более удачно, чем некоторые другие... Вместо того чтобы думать, что ценно-

сти определяются методом извлечения энергии, возможно, следует считать, что по мере того, как люди, овладев сельским хозяйством, приступили к накоплению власти и собственности, истинные моральные ценности стали искажаться под влиянием разных форм идеологии, и мы начинаем избавляться от этих искажений лишь сейчас, в век науки и массовой грамотности» (с. 345).

Корсгаард критикует модель Морриса, опираясь на различие типов ценностей (вечные, меняющиеся и ценности личности), которое мы сегодня прекрасно осознаем, видя разницу между тем, что общество декларирует (скажем, ценность любого труда), как реально оценивает многие вещи (разрыв в оплате городского и сельского труда) и как человек оценивает себя (непрестижность крестьянского труда). Она согласна с Моррисом в признании влияния всевозможных социальных и экономических сил на наши ценности, но не считает его исчерпывающим — вмешиваются идеологические искажения. Так, Моррис объясняет историю человечества, опираясь на научные допущения и методы общества, потребляющего ископаемое топливо (т. е.. находится во власти капиталистической идеологии), которые явно расходятся с теологическими представлениями земледельческих обществ, что порождает вопрос о соотношении ценностных ориентиров действительности, науки, истории и этики. Моррис подобные упреки отклоняет, выдвигая встречное обвинение Сифорду и Корсгаард — в неуместном эссенциализме, т. е. в убеждении, что либеральные просвещенческие ценности (включая социальный эгалитаризм и склонность к ненасильственным методам разрешения конфликтов) максимально приближены к истинным моральным ценностям и могут считаться «позицией по умолчанию» в благоприятных обстоятельствах. Он подчеркивает, что все люди разделяют ключевые ценности, но их интерпретации могут меняться в разные исторические периоды. Соответственно, если Сифорд и Корсгаард выступают за эгалитаризм и ненасилие с моральных позиций (и потому, например, осуждают талибов за угнетение женщин), то Моррис квалифицирует их как ценности конкретных социальных систем вне каких бы то ни было моральных оценок (и потому порицает талибов за отсталость — они исповедуют сегодня ценности закончившейся эры земледелия).

Моррис отвергает обвинения в том, что находится в плену идеологии, поскольку любая идеология — это «набор ложных утверждений, которые приносят выгоду тем или иным кругам», и в этом ее слабость: она не может доминировать долго, потому что «здравый смысл — очень мощное орудие, позволяющее быстро выявить те рецепты, которые наиболее пригодны в тех материальных условиях, в которых мы находимся», «агрессивная субстанция, разъедающая любую идеологию, как кислота», и потому что «невозможно обманывать всех до бесконечности» и «злокозненные элиты» не обладают достаточными ресурсами, силой и умом, чтобы водить людей

за нос на протяжении длительного времени (с. 426). Безусловно, это слишком идеалистическая трактовка здравого смысла, особенно в контексте истории XX века (тоталитарные и авторитарные режимы всех типов), не говоря уже о последнем десятилетии (геополитические и внутриполитические баталии в жизни, казалось бы, крайне разумных и расчетливых стран).

В-четвертых, М. Этвуд не столько критикует концепцию Морриса (она считает ее «вдохновляющей, обнадеживающей, всеохватной и ужасно увлекательной»), сколько пытается оценить ее прогностические возможности по отношению к будущему, чреватому угрозами, которые плохо просчитываются посредством научных наблюдений и квантифицируемых данных, потому что в нынешнем глобализированном мире любой крах будет всеобщим, а коллапс цивилизационным. Моррис называет пять видов потрясений всех эпох — неконтролируемые миграции, недееспособность государства, нехватка продовольствия, эпидемии и климатические изменения, Этвуд дополняет этот список гибелью океанов и биоинженерией, которая открывает колоссальный потенциал для «махинаций с нашими телами и мозгами». Моррис размышляет о возможных сценариях будущего всемирного катаклизма, полагая, что наш вид целенаправленно создает условия собственного вымирания, а Этвуд дополняет, что будущее сулит нам и гигантские изменения «представлений о том, какое поведение считается “хорошим”... поэтому никто не знает, как эти сценарии претворятся в жизнь; в них задействовано слишком много переменных» (с. 354).

После столь содержательно насыщенного введения книга в некоторой степени выполняет задачу наполнения изложенных тезисов иллюстративным материалом и развертывания авторской аргументации. Так, в первой главе за фразой «образ мысли всегда соответствует требованиям эпохи» скрывается попытка автора выстроить «общую теорию культурной эволюции человеческих ценностей на протяжении последних двадцати тысяч лет» (с. 29)[5]: три сменявшие друг друга системы ценностей были связаны с конкретными формами социальной организации, обусловленными конкретными способами извлечения энергии. Единственная оговорка, которую Моррис делает в связи с глобальным масштабом своей модели, состоит в том, что понятия «система ценностей/культура» столь бесформенны, что «единственный способ изложить свою аргументацию... заключается в рассмотрении их подсистем... — я ограничиваюсь идеями о равенстве и иерархии (политической, экономической и гендерной) и отношением к насилию» (с. 30).

5. Вероятно, по глобальности обобщений, неизменно приводящих к излишним упрощениям, модель Морриса стоит в одном ряду с концепцией культурных суперсистем П.А. Сорокина. См.: *Сорокин П.А.* (1992). Социокультурная динамика // Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество / Пер. с англ. М.: Политиздат.

Здесь же автор формулирует свою исследовательскую задачу — не понять, а объяснить эволюцию человеческих ценностей. Моррис апеллирует к М. Веберу (как обобщившему первоначальное толкование понимания и объяснения и настоявшего на их синтезе), Г. Дройзену (как впервые выдвинувшему идею о различии этих задач в исторических и естественнонаучных исследованиях), Т. Парсонсу (как развившему идеи Вебера) и К. Гирцу (как отказавшему объяснению в общественных науках в приоритете). Но он предпочитает иной подход: «дополнить сотни плотных описаний смысла конкретных культур широкими сопоставлениями, охватывающими большие пространства и большие промежутки времени; эти сопоставления дадут неплотные описания, по большей части количественные и не предполагающие взгляда изнутри..., достаточно грубые... и редукционистские, потому что мы должны будем сводить колоссальное разнообразие живого опыта к упрощенным принципам, лежащим в его основе» (с. 38). Тем не менее выделяемые три системы ценностей — собирательские, земледельческие и потребителей ископаемого топлива — автор трактует как веберовские идеальные типы с точки зрения «однобокой акцентуации одной или нескольких точек зрения и синтеза множества рассеянных, дискретных... индивидуальных явлений, в соответствии с этими однобоко выделяемыми точками зрения собираемых в единый мысленный конструкт... который в своей концептуальной чистоте никогда не сможет быть эмпирически выявлен в реальности» (с. 38). Моррис сразу выбивает оружие из рук радикальных критиков своей концепции, признавая, что она не претендует на описание реального эмпирического разнообразия и допускает множество исключений («любая наука — это редукционизм»). Он также подчеркивает, что его аргументация откровенно материалистична — «хотя культурные традиции порождают различные вариации центральной темы, общая картина задается способом извлечения энергии» (с. 40), балансирует на грани универсализма — «не покрывает некоторые части планеты... но охватывает подавляющее большинство (вероятно, более 95%) всех людей, когда-либо живших на Земле» (с. 41), виновна в функционализме — рассматривает ценности как «адаптивные части более крупных структур» — и эволюционизме — «описываемые три системы представляют собой эволюционную адаптацию к меняющимся обстоятельствам» (с. 42).

Наиболее сомнителен (по крайней мере, с социологических позиций) биологический детерминизм предлагаемой модели: «человеческие ценности претерпели процесс биологической эволюции на протяжении семи или восьми миллионов лет... наша биология не претерпела существенных изменений за десять-пятнадцать тысяч лет, прошедших с момента возникновения земледелия, и потому... некоторые ключевые понятия — честность, справедливость, любовь и ненависть, стремление не причинять вред, признание некоторых вещей священными — встречаются во всех обществах,

вне зависимости от того, где и когда они существовали... В какой-то степени человеческие ценности задаются на генетическом уровне, и поэтому... настала пора временно изъять этику из ведения философов и подвергнуть ее биологизации» (с. 42). По мнению Морриса, биологическая эволюция дала нам мозг, позволивший изобрести культуру, в результате наши моральные системы есть механизмы культурной адаптации (или биологической эволюции), а ее двигатель — нарастание объемов извлекаемой энергии, поскольку «по большей части именно методы извлечения энергии диктуют, какие демографические ресурсы и организационные формы являются оптимальными, а те, в свою очередь, определяют, какие ценности будут процветать... По мере того как в конкурентной борьбе между мутациями выявляются победители, те признаки, которые полезны в данном окружении, вытесняют те, которые не приносят пользы... Поэтому обожествляемые цари и рабство так распространены (но не являются повсеместными) в земледельческих обществах и так редко встречаются (но не полностью отсутствуют) в обществах, потребляющих ископаемое топливо. Крестьяне отдавали предпочтение иерархии не потому, что все они были негодяи, а потому что она была им полезна; люди, живущие за счет ископаемого топлива, обычно выбирают демократию не потому, что все они святые, а потому что в мире, изменившемся благодаря открытию этого мощного источника энергии, лучше всего живется при демократии... Конкурентный процесс культурной эволюции заставляет нас выбирать те ценности, которые наиболее полезны при конкретном способе извлечения энергии, вне зависимости от того, как мы к ним относимся» (с. 48)[6].

Вторая глава книги посвящена «собирательским ценностям» — они присущи обществам, обеспечивающим свое пропитание в первую очередь сбором дикорастущих растений, охотой и ры-

6. Это очень сомнительная позиция: сегодня есть масса примеров тому, что люди выбирают не самые оптимальные и полезные с точки зрения культурной эволюции ориентиры, а ценности, к которым они относятся положительно. Скажем, так называемое «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации), возникшее на нынешней стадии потребления ископаемого топлива, сочетает научно-технические достижения этого периода (прежде всего электронно-коммуникативные технологии) с самыми архаическими формами гендерного, социально-экономического и политического неравенства, характерными для стадий собирательства (высокий уровень насилия) и земледелия (жесткая иерархическая структура). Многие люди добровольно покинули свои сообщества и страны, чтобы жить на территории ИГИЛ, объясняя свое решение желанием освободиться от невыносимого диктата ценностей капиталистического общества, однако в итоге регламентация жизни человека в архаичном религиозном квазигосударстве оказывается еще более тотальной, поскольку сочетает все неприемлемые для современного этапа культурной эволюции, по Моррису, собирательские и земледельческие ценности.

боловством, предпочитающим равенство и терпимо относящимся к насилию. Как и все исследователи данного типа обществ, Моррис опирается на три группы источников — археологические данные по доисторическому периоду, немногочисленные описания собирателей, оставленные грамотными обществами, и этнографические описания последних столетий. Каждой группе свойственны ограничения: археологические находки не говорят о ценностях, образованные элиты аграрных обществ описывали собирателей, чтобы лишь подчеркнуть собственные представления, а этнографические описания мало что могут сказать о собирателях современности. Однако в совокупности они дают «весьма четкую картину». Так, хотя способы добычи пропитания и социальной организации среди собирателей различались, они всегда жили небольшими группами (будучи частью крупных жизнеспособных популяций), много перемещались (задерживаясь только в местах с изобилием ресурсов), поддерживали простое разделение труда (гендерные и возрастные сбои собирательского эгалитаризма), испытывали неприязнь к политической иерархии (нет институционализированных вождей, были временные руководители, а если они хотели задержаться во власти, то подвергались остракизму), накладывали строгие ограничения на накопление богатства, которые часто подкреплялись представлениями о нравственном зле, сокрытом в имущественной иерархии, с пугающей легкостью прибегали к насилию из-за любых разногласий и по стандартам земледельческих и сообществ потребителей ископаемого топлива были крайне бедны. Поразительно схожие эгалитарные ценности и высокую склонность к насилию как способу решения конфликтов у всех групп собирателей Моррис связывает с экономическими и социальными ограничениями собирательства как метода извлечения энергии. И хотя Моррис постоянно подчеркивает, что речь идет об «идеально-типичном наборе ценностей» в веберовском смысле, все же невозможно избавиться от ассоциаций с упрощенческой трактовкой марксистской версии истории, когда способ производства определяет «надстройку» — производственные и прочие отношения.

Собирательские ценности были «вытеснены в небытие» ценностями «земледельческими» (в сноске уточняется, что таковые могут называться крестьянскими, категории «земледельцы» и «крестьяне» — синонимы) — они присущи обществам, которые кормятся преимущественно выращиванием окультуренных растений и разведением одомашненных животных, ставят иерархию выше равенства и менее терпимы к насилию, чем собиратели. Земледельцы изменяют генофонд эксплуатируемых ресурсов, живут большими группами и передвигаются достаточно мало, более разнообразны, чем собиратели, потому что включают промежуточные формы между двумя стадиями: крохотные группы собирателей, которые выращивают некоторые растения и животных (хортикультурные, или общества подсечно-огневых земледельцев); аграрные государства XVIII века

с заморскими колониями на пороге промышленной революции; коммерционализированные города-государства, разбросанные по времени (античные Афины, средневековая Венеция и др.) — в центре этой трехконечной звезды Моррис помещает идеальное крестьянское общество и всю третью главу посвящает описанию «фундаментальных ориентиров крестьянского мира» (с. 101).

В описании земледельцев автор опирается на те же группы источников (археология, исторические описания и антропология), однако доминируют здесь письменные источники, страдающие односторонностью (их писали малочисленные образованные элиты в собственных целях). Как и у собирателей, Моррис отмечает географически обусловленные различия в питании и социальной организации, однако они не влияли на общую логику распространения земледельческих ценностей благодаря формированию все большего числа крупных «аграрных ядер», где «постоянное увеличение энергии, получаемой с единицы обрабатываемых земель, позволяло прокормить миллионы ртов, но за это приходилось расплачиваться постоянным изнурительным трудом» (с. 114). «Крестьянская жизнь даже в самые благоприятные фазы демографического цикла (когда за внезапными демографическими подъемами следовали страшные провалы, резко менявшие соотношение между площадью обрабатываемых земель и количеством рабочей силы в пользу уцелевших) поразила бы почти любого посетителя из мира потребителей ископаемого топлива своей неприглядностью, суровостью и бедностью (подтверждение — мрачный рассказ А.П. Чехова «Мужики», изданный в 1897 году)», «хотя она была все-таки не такой жалкой, как жизнь собирателей» (с. 117).

Многолюдные и более процветающие, чем общества собирателей, земледельческие системы стали возможны благодаря резкому усложнению труда в сельском хозяйстве, разделению всех сфер деятельности под давлением демографических факторов на мужские и женские и использованию принудительного труда, когда родственные структуры и рынок не справлялись с обеспечением рабочей силой тех проектов (дороги, храмы, порты и пр.), которые гарантировали сплоченность и выживание земледельческих обществ. «Принудительный труд, как и патриархат, был функционально необходим... Углублявшееся разделение труда имело и более светлую сторону — профессионализацию интеллектуальной жизни, позволившую резко увеличить объемы накопленных знаний» (с. 132).

В аграрном обществе спокойное принятие и «признание вопиющего имущественного неравенства сочеталось с тлеющим возмущением и отдельными вспышками уравнительного насилия»: «подобно собирателям, прибегающим к насмешкам, остракизму, а в крайних случаях и к насилию для наказания выскочек, игнорирующих необходимость делиться и соблюдать очередность, земледельцы оставляют за собой право сопротивляться элитам и даже ниспровергать

их в тех случаях, когда сочтут, что “лучшие люди”... превращаются в тиранов. ...Самое поразительное в тех волнах уравнительного насилия, которые периодически проносятся по земледельческим обществам, — то, насколько редко мишенью протестов служит неравенство как таковое: по большей части насилие направлено против отдельных индивидуумов из числа власть имущих и их злокозненных поступков... Земледельцы порой прибегали к прямому насилию, но при этом регулярно утверждали, что объектом их нападения являются только местные власти, но ни в коем случае не верховная власть... По их мнению, удаленный правитель сохранял благочестие, но его предавали нижестоящие (как гласит русская мудрость, «царь хороший, бояре плохие»)» (с. 151-152). И «когда в XVIII веке европейские реформаторы начали выбираться из своих городских анклавов в сельский мир[7], их нередко поражало то, что крестьяне отнюдь не сетовали на неравенство и не требовали перераспределения собственности, в целом считая правильным и разумным то, что в мире много бедных и слабых людей и мало богатых и сильных» (с. 162).

По мнению Морриса, дело было не столько в политической пассивности, сколько в ценностях, соответствующих требованиям эпохи: в отличие от собирателей, которые имели возможность сбежать от агрессии, земледельцы были заперты на своих густонаселенных территориях, чьи правители стремились утихомирить многочисленных подданных и добиться, чтобы они упорно трудились, воздавали кесарю кесарево и не убивали друг друга (т. е. не уничтожали «производственные активы» правящих групп). Задачу снижения уровня насильственной смертности в аграрных обществах правители решали за счет убеждения подданных в том, что только государство имеет право на легитимное насилие (и принуждение). «Земледельцы могли выжить лишь в иерархическом, более-менее

7. Многие авторы не согласились бы с подобным изображением разрыва между сельской и городской жизнью в XVIII веке. Так, К. Стил в книге «Голодный город: Как еда определяет нашу жизнь» (М.: Strelka Press, 2016) утверждает, что для Европы всегда была характерна тесная связь города и деревни, и даже в XIX веке горожане регулярно бывали в деревне и привозили ее с собой (держали в домах птицу и свиней, хранили зерно и сено), а богачи имели поместья, снабжавшие их продуктами питания. В Новое время сохранялось представление о «цивилизованности» городской жизни и «примитивности» сельской, однако в XVII — начале XVIII столетия сельские ландшафты все больше обретали рукотворный характер, чтобы удовлетворить все возрастающую потребность городов в продовольствии (осушались болота, вырубались леса и т. д.). Кроме того, «город» настойчиво проникал в деревню и переводил сельское хозяйство на промышленные методы: в XVIII веке появились железные плуги и подковы, в XIX — сельскохозяйственная техника и т. д. См. также: *Троцук И.В.* (2018). Социологическая «калорийность»: кулинарное, культурное и пространственное «измерение еды» // Социологическое обозрение. Т. 17. № 1. С. 302-324.

умиротворенном мире, и потому они стали ценить иерархию и мир... В основе их набора моральных ценностей лежит идея о том, что иерархия — это благо. Иерархия отражает в себе естественный/божественный порядок, предполагающий, что некоторые люди рождаются, чтобы повелевать, а большинство — чтобы подчиняться. Согласно этим же принципам оценивается и насилие: когда к нему прибегают законные правители, насилие служит благу; в иных случаях — нет» (с. 176-177).

«Когда люди не умели использовать ископаемое топливо, единственный способ поднять извлечение энергии... заключался в построении "Аграрии" с присущей ей структурной необходимостью в экономическом и политическом неравенстве... Моральные требования... и настроения начали изменяться лишь после того, как рост крупномасштабной морской торговли, сопровождавшийся перемещением некоторых земледельческих обществ из аграрного центра в сторону городов-государств или к раннему модерну... привел к пересмотру этих требований... Восточная и западная окраины Старого Света начали сталкиваться с крайне непривычными требованиями совершенно отказаться от политической и экономической иерархии вместо того, чтобы просто перетасовывать позиции, занимаемые людьми в этой системе» (с. 163-165). Общество, потребляющее ископаемое топливо, стало результатом совместного применения угля и энергии пара в производственных целях, что дало резкий прирост производительности, снижение цен, рост прибыли, энергетическое изобилие и иную структуру сельского хозяйства и производства. К 1914 году большинство населения мира жило в экономике, основанной на потреблении ископаемого топлива и привязанной к глобальным рынкам.

Четвертая глава характеризует «ценности потребителей ископаемого топлива» (индустриальной капиталистической эпохи) как присущих обществам, дополняющим энергию растений и животных энергией угля, нефти и газа, ставящим большинство видов равенства выше насилия и крайне нетерпимым к нему. Для Морриса главные результаты ряда революций в сфере извлечения энергии — скачок в количестве и плотности населения, в размерах и интеграции мировых рынков и снижение необходимости в принудительном труде: рабство и крепостное право были отменены, принудительный труд вытеснен наемным. «"Агрария" была поделена на клеточки... — для элиты и основной массы мужчин и женщин, для верующих и неверующих... свободных и рабов и множества других категорий. Каждая из этих групп имела свое место в сложной иерархии взаимных обязательств и привилегий, скрепленных "Старым курсом" и державшейся на воле богов и угрозе насилия... Обществам потребителей ископаемого топлива подобное разделение только мешало. Чем решительнее та или иная группа отказывается от жесткой структуры... тем крупнее и эффективнее будут ее рынки и тем удобнее ей будет существовать в мире иско-

паемого топлива. “Индустрия” — такая же абстракция, как и “Агрария”... но именно в эту сторону двигался наш мир после 1800 года» (с. 198): либеральным путем — через объявление границ между клеточками несущественными, а всех людей равными в глазах закона, или нелиберальным путем — через уничтожение различий, иногда посредством силы.

Для российского читателя в книге Морриса неожиданным окажется множество примеров из российской истории. В частности, XX век предстает в работе как период сильнейшего раскола между странами, которые пошли по либеральному пути (Великобритания, США и др.) и по нелиберальному пути (Россия). Коммунистический и фашистский пути к «Индустрии» автор объединяет общим настроем насильственно очистить общество от тех, кто был не угоден властям, подчинить граждан суровой дисциплине, резко расширить масштабы государственной власти, а также тем, что нелиберальные пути к «Индустрии» нередко показывали более быстрый экономический рост, чем либеральные варианты, но в конечном итоге экономически выиграли именно последние.

Характеризовать последний, нынешний этап истории Моррису сложнее всего, потому что это «эпоха грандиозной перестройки моральной системы... никогда прежде не менялось столь многое, столь быстро и для столь большого числа людей... Менее чем за десять поколений политическая, экономическая и гендерная иерархия, казавшаяся совершенно естественной и справедливой, стала считаться — в той или иной степени — нежелательной» (с. 217). Индустриализация не могла не изменить политические ценности, поскольку «в сообществе взаимозаменяемых граждан общая воля фактически остается единственной надежной основой для легитимной политической власти» (с. 222). Признавая, что за понятием «демократия» сегодня могут скрываться очень разные вещи, Моррис все же полагает, что в ее основе лежит убеждение во вредности политической иерархии. Он признает, что в современной истории есть прецеденты, когда «антилибералы, создавая наиболее ярко выраженную политическую иерархию из всех возможных и добившись сосредоточения всей власти в руках одного человека, утверждали, что на самом деле искореняют политическую иерархию» (с. 223), и «даже демократия неизбежно порождает влиятельную элиту, закрепляющуюся в качестве постоянных политических каст» (с. 225), т. е.. трезво оценивает заинтересованность либеральных режимов в создании демократической ширмы над бережно поддерживаемой системой экономического и политического неравенства. Однако подчеркивает, что важна сама идея равенства и борьбы за демократическое устройство — как моральное основание эпохи, но тогда непонятно, почему с подобными лозунгами создаются недемократические и очень живучие режимы, идеология и экономика которых требованиям эпохи, по Моррису, не соответствуют. Чтобы снять это противоречие, он говорит о компромиссах между четкими и размы-

тыми иерархиями, общем векторе эволюции государств к поддержке определенного имущественного неравенства и разных трактовках равенства (возможностей и результатов).

Аналогичные проблемы возникают с утверждением Морриса, что «Индустрия» с ее открытым пространством и взаимозаменяемыми гражданами оказалась работоспособна только благодаря умиротворению и отказу от силовых приемов разрешения конфликтов. «Одновременно с зарождением общего критического отношения к политической, экономической и гендерной иерархии стали появляться новые идеи — о том, что война не соответствует человеческой природе, что человек в своем естественном состоянии есть существо миролюбивое» (с. 240), и «в XXI веке гораздо больше людей в ходе опросов заявляет о полном отрицании насилия» (с. 241). Полагаться на подобные суждения вряд ли имеет смысл, учитывая уровень повседневного насилия и количество вооруженных конфликтов во всех уголках мира даже в тот конкретный момент времени, когда кто-то читает книгу Морриса. Иными словами, получается, что «Индустрия» вполне жизнеспособна и при высочайшем уровне насилия[8], несмотря на то что в основе его модели истории лежит посылка о последовательном умиротворении человечества при переходе от собирательства через земледельческие сообщества к современности: «человечество никогда еще не было таким миролюбивым, как сегодня, и никогда еще не было так решительно настроено против силового решения проблем» (с. 244). Это противоречие автор не признает, хотя в целом достаточно самокритичен, утверждая, что, во-первых, предлагаемая им схема эволюции ценностей «страдает редукционизмом, упрощая и неизбежно искажая намного более сложную реальность» (с. 244). Во-вторых, он не пытается объяснить, «почему произошла радикальная совместная эволюция способов извлечения энергии, организационных форм и ценностей, и не задается очевидным вопросом о том, как могут измениться человеческие ценности по мере дальнейшего развития наших систем извлечения энергии и организации общества» (с. 251).

Пятая глава суммирует содержание концепции Морриса в контексте объяснения, почему ценности изменялись согласно системам извлечения энергии, хотя «в истории человечества нет ничего неизбежного». Автор задает три вопроса: почему изменяются системы извлечения энергии; были ли эти сдвиги неизбежны; что

8. Достаточно привести известную цитату П.А. Сорокина: «если главной моральной заповедью всех религий и этических систем было “не убий”, то XX век стал наиболее кровопролитным и негуманным веком... в двух мировых войнах и в более мелких войнах этого века было убито и ранено гораздо большее число человеческих существ, чем во всех войнах предшествующих десяти веков вместе взятых...» (Сорокин П.А. (1997). Главные тенденции нашего времени / Пер. с англ., послесл. и прил. Т.С. Васильевой. М.: Наука. С. 209).

произойдет с ценностями в будущем. Ответы он ищет с помощью следующей аналогии: «ценности эволюционируют таким же образом, как и наши гены, посредством работающего в обе стороны взаимодействия между моральными системами и окружением (физическим, социальным и интеллектуальным), сочетающегося с внешними потрясениями» (с. 257). Так, основной причиной, по которой люди вдруг начали заниматься земледелием, стало «грандиозное экзогенное потрясение в виде климатических изменений» («долгое лето»), которое сделало земледелие почти неизбежным и помогло нам стать «мозговитыми существами», начать процесс одомашнивания и демографически выиграть благодаря интенсивному сельскохозяйственному труду и иерархическому укладу (основа коллективного действия и крупных сплоченных сообществ). Оба перехода в истории — аграрную революцию и смену собирательских ценностей земледельческими, а затем промышленную революцию и вытеснение земледельческих ценностей — автор объясняет тем, что «традиционные способы существования становились все более проблематичными, и люди пытались найти новые пути» (с. 277), как правило, опираясь на географический фактор (так, расширение глобальных рынков началось с изобретения кораблей, которые могли преодолеть океаны).

Таким образом, ответ Морриса на первый вопрос о причине переходов между тремя историческими эпохами — «культурная эволюция», на второй вопрос о причине подобных изменений — «они были настолько неизбежными, насколько это вообще возможно в истории» (с. 283). Что касается будущего человеческих ценностей, то, будучи убежден, что «либерализм и демократия распространились по всему миру, потому что его охватила промышленная революция, а именно либеральные, индивидуалистические ценности лучше всего подходят для “Индустрии”, и люди по всему миру освоили их в той или иной степени» (с. 287), автор делает осторожный прогноз, что через столетие, при сохранении нынешних темпов социального развития (извлечения энергии в расчете на человека в день) и отсутствии цивилизационных крахов, Восток сможет нагнать и обогнать Запад, но речь идет уже о «постлюдях с постценностями, отличающихся от нас и от наших ценностей так же сильно, как мы отличаемся от неандертальцев» (с. 293).

Свою позицию Моррис считает «биологической», потому что уверен, что наш животный вид обрел базовый набор ценностей (справедливость, честность, любовь, верность, самоуважение, достоинство и др.) в результате эволюции, и единственное наше отличие от других животных состоит в том, что «на протяжении последних двенадцати тысяч лет мы претерпели культурную эволюцию, в ходе которой давали адаптивным признакам, возникшим биологическим путем, самое разное истолкование... Точно так же, как рост объемов извлекаемой энергии оказывал селекционное давление на эволюцию социальной организации, так и эволюция социальной ор-

ганизации оказывает селекционное давление на интерпретацию элементарных ценностей, сложившихся в ходе биологической эволюции (так, нравственное и безнравственное поведение представляют собой разные вещи в глазах собирательницы из пустыни Калахари, жителя греческой деревни и калифорнийца, использующего ископаемое топливо)» (с. 299).

За пятой главой следует охарактеризованный выше раздел с критикой концепции Морриса, которую можно было бы развернуть и продолжить. Скажем, когда утверждается, что «образ мысли всегда соответствует требованиям эпохи», кто эти требования улавливает или устанавливает, а если они как бы витают в воздухе (самоочевидны, диктуются объективными реалиями), то все равно кто-то должен их осознать и артикулировать (но кто владеет столь ценными компетенциями)? Аналогичные вопросы порождает понятие «культурные инновации» — кто именно понимает их необходимость, в состоянии их придумать, популяризовать и распространить? Впрочем, эти и другие частные замечания меркнут на фоне убежденного детерминизма Морриса, согласно которому культурные универсалии — результат «биологической эволюции, наделившей нас большим и быстродействующим мозгом», поэтому некоторые ценности встречаются и у «наших ближайших родственников среди человекообразных обезьян». Слишком жесткой выглядит и предлагаемая Моррисом схема неотвратимого движения истории от собирательства через земледелие к современности[9]. Она привлекательна тем, что делает бессмысленными попытки обнаружить в современном мире крестьянство как способ хозяйствования и устойчивую систему ценностей и поведенческих паттернов: согласно модели Морриса, крестьянский образ жизни ушел в прошлое вместе с завершением второго этапа истории — земледельческого (что сомнительно, учитывая распространенность крестьянских сообществ в ряде стран Африки, Латинской Америки и др.).

Моррис допускает сохранение прежних форм хозяйствования и социальной организации, но отводит им незначительную роль. Скажем, «на протяжении первых 90% истории человечества все люди были собирателями, и некоторые из нас остаются ими и по сей день (будучи загнаны в области с экстремальными условиями суще-

9. Часто критикуемая модель Дж. Скотта (сосуществование государственных центров и огромной безгосударственной периферии на протяжении большей части человеческой истории) явно выигрывает на этом фоне, потому что Скотт допускает постоянные откаты от обоих модусов социального существования (государственность и безгосударственность), хотя и признает что со второй половины XX века шансы людей на игнорирование государства сошли практически на нет в силу грандиозного сокращения прежде весьма обжитой и масштабной безгосударственной периферии. См.: *Скотт Дж.* (2017). Искусство быть неподвластным: Анархическая история высокогорий Юго-Восточной Азии / Пер. с англ. И.В. Троцук. М.: Новое издательство.

ствования, но и там не скрывшиеся от влияния современных государств, рынков и вкусов)» (с. 64), хотя уже к 1800 году собиратели составляли менее 1% населения. Моррис неоднократно подчеркивает, что возводит конструкцию, которая не улавливает множество отклонений от заданного курса, его утверждения все равно слишком оптимистичны. Например, что нашей эпохе не нужна характерная для аграрного строя иерархия (неравенство по критериям пола, возраста, веры, дохода и т. д.), — но сегодняшняя жизнь, пусть не столь жестко, но не менее четко иерархизирована в вертикальной и горизонтальной плоскостях (как и прежде, действуют и взаимные обязательства, и традиционные привилегии, и угрозы насилия, и апелляции к божественному).

В заключительной десятой главе Моррис уверенно и остроумно отвечает на критику, считая ее «самой искренней формой лести в научных кругах», и, по сути, лишь уточняет и дополняет положения первых глав. Тем более что «ни один автор на его памяти не отрекся от своих взглядов перед лицом уничижительной критики... а прелесть его критических отзывов состоит в том, что их авторы — романист, философ, филолог и историк — настолько по-разному смотрят на эволюцию человеческих ценностей и настолько по-разному реагируют на эту тему, что заставляют взглянуть на собственные аргументы с совершенно иных точек зрения» (с. 357). Практически единственное сомнение в своей теории, которое Моррис счел обоснованным, состоит в том, что любая крупномасштабная модель, как и любой идеальный тип, при проверке действительностью обнаруживает массу исключений. Моррис подчеркивает, что не претендовал на репрезентативную выборку обществ, стоящих на разных этапах извлечения энергии (что невозможно), а описываемые ценности — номинальные, а не количественные данные, т. е.. их можно охарактеризовать в формате эссе, но не ранжировать или измерить в зависимости от способа извлечения энергии (такая возможность появилась в эпоху опросов общественного мнения, но и социологические мониторинги часто дают «причудливые результаты» в виде «поучительных аномалий»). Книга — «эссе, написанное в духе рекомендаций Гирца: выдвигающее предположения, но не демонстрирующее корреляций, опирающееся на хорошо обоснованные обобщения качественного плана, сделанные в антропологии, археологии и исторической социологии» (с. 62). Впрочем, в последней главе, отвечая на критику, Моррис отстаивает свои взгляды с куда большим пылом, чем можно было бы ожидать после подобных предупреждений читателя в начале работы.

Ответ критикам автор выстраивает следующим образом: его оппоненты не оспаривают две предпосылки его теории — что существует несколько ключевых ценностей, глубоко небезразличных почти всем людям, и что они являются адаптивными признаками, возникшими в ходе биологической эволюции, — а значит, не могут

оспаривать утверждения (три стадии человеческой истории и факторы, таковые объясняющие), которые из этих предпосылок вытекают. Так, критику причинно-следственной связи между масштабами общества и иерархией Моррис объясняет не неверностью своей концепции, а недостаточно четким описанием этой связи на микро- и макроуровне. Он признает, что «в большей степени виновен в излишне сжатой аргументации, чем в ошибках и путанице» (с. 398), и уточняет ряд положений своей теории, например, трактовку биологической эволюции, в ходе которой «мы приобрели способность использовать иерархию и насилие в тех или иных масштабах в зависимости от встающих перед нами проблем. Когда нам больше всего годится иерархия, мы иерархичны; когда иерархия неэффективна, мы обходимся без нее. Мы постоянно экспериментируем, и те индивиды и группы, которым удалось сделать верный выбор, процветают, а те, кому это не удалось, — погибают» (с. 395). Аргументация автора здесь понятнее, но не убедительнее: вопрос о том, каковы критерии эффективности и для кого именно выбор оказывается верным, остался без ответа. Моррис признается: «не уверен, что мне удалось убедить возражавших в моей правоте, тем более что они не сумели доказать мне, что я ошибаюсь. Однако они, безусловно, заставили меня более серьезно и по-новому обдумать мои идеи и внушили мне новые идеи и мысли о новых книгах, которые мне хотелось бы написать. С точки зрения исследователя, едва ли можно надеяться на что-то большее» (с. 452).

Тор Хэнсон полагает, что «научное исследование — это, как правило, монотонная однообразная работа, перемежаемая краткими, редкими моментами восторга и открытий» (с. 31), причем «наука не столько обнаруживает новые факты, сколько “открывает новые способы их объяснения”» (с. 83). Эти два утверждения прекрасно характеризуют обе книги. Они не предлагают читателю поразительных новых открытий из сферы биологии или антропологии, но заставляют задуматься о том, столь ли убедительны и безальтернативны те модели объяснения социальной истории, которые мы привыкли воспринимать как единственно возможный исторический нарратив. Обе работы категорически нельзя просматривать по вертикали (с «Триумфом семян» это в принципе может получиться, а с «Собирателями, земледельцами и ископаемым топливом» однозначно нет), а нужно внимательно читать и размышлять о прочитанном, и такое вдумчивое чтение не оставит читателя без награды — радости от лучшего понимания весьма сложных вещей, в частности, взаимосвязи биологического и социального.

Однако следует предупредить читателя о необходимости сохранять критическую отстраненность и не поддаваться увлечению идеально-упрощенными (в веберовском смысле) схемами Морриса, которые, например, наводят на мысли, что крестьянства сегодня нет и быть не может, потому что закончилась эпоха земледельцев, а значит, свойственные ей хозяйственные практики, социальная органи-

зация, образ жизни и ценностные приоритеты просто невозможны (или маргинальны); или что политическая пассивность российского населения и высокое доверие высшей власти при пессимистично-критичном восприятии ее среднего и низового уровней — пережитки мировоззрения земледельческого сообщества (Россия слишком долго была аграрной страной), в частности, «консервативная модернизация» («восстановление стандартов, по которым жили предки») и усмотрение сути всех проблем «не в существовании политической или экономической иерархии, а в злоупотреблениях порочных людей» (с. 156). Эти и аналогичные объяснения очень привлекательны в силу своей простоты, но это не значит, что их следует принимать и увлеченно отстаивать. Иными словами, помимо тех критических замечаний, которые Моррис поместил в тексте, не следует приписывать его концептуальным построениям больше далеко идущих импликаций, чем уже содержатся в книге.

Biological, social and moral in the logic of history, or whether or not there is peasantry in the contemporary world

Review of the book: Morris I. Foragers, Farmers, and Fossil Fuels. How Human Values Evolve. Ed. and with an introduction by S. Macedo; with comm. by R. Seaford, J.D. Spence, C.M. Korsgaard, M. Atwood. Transl. from English by N. Edelman. Moscow: Izd-vo Instituta Gaidara, 2017. 488 p. [and review of the book: Hansen T. The Triumph of Seeds. How Grains, Nuts, Kernels, Pulses, and Pips Conquered the Plant Kingdom and Shaped Human History. Trans. from English by N. Maisuryan, A. Olefir, ed. by V. Bologova. Moscow: Alpina non-fiction, 2018. 374 p.].

Irina Trotsuk, DSc (Sociology), Associate Professor, Sociology Chair, RUDN University; Senior Researcher, Center for Fundamental Sociology Higher School of Economics, Senior Researcher, Center for Agrarian Studies, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration. 119571, Moscow, prosp. Vernadskogo, 82. E-mail: irina.trotsuk@yandex.ru.